

Геннадий Сердитов
Я – Геха



Геннадий Сердитов

Я – Геха

«Продюсерский центр ротации и продвижения»

2024

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2=411.2)6-44

Сердитов Г. Д.

Я – Геха / Г. Д. Сердитов — «Продюсерский центр ротации и продвижения», 2024

ISBN 978-5-907802-37-7

Приключения питерского пацана Гехи в реалиях войны и послевоенной разрухи. Время действия: 1941-1959 г.г. Место действия: Ленинград, Сыктывкар, Боровичи, Целина, Севастополь. Смерть отца и сестры, отчаянные дружки, пленные фрицы, казнь немецких артиллеристов, ночные очереди, кусок сырого мяса на неделю, турнепс и маскировка лицом в муравейник, учителя Або и Арон, смерть Сталина и лыжи, подушка с кислородом и бандиты, кремлёвская чехарда и амнистия, целинный урожай и баранина, сухой закон и бандеровец, посудомойка на мысе Фиолент, картошка на палубе крейсера «Фрунзе», гибель мэра города, доллары и трагедия семьи мэра.

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2=411.2)6-44

ISBN 978-5-907802-37-7

© Сердитов Г. Д., 2024

© Продюсерский центр ротации и продвижения, 2024

Содержание

Глава 1. 1937–1945	6
Кронштадт. Старая Деревня. Начало войны	6
Эшелон в тыл	8
Сыктывкар	10
Отец	11
Город Киров	12
Лёнька	14
Боровичи	15
Бабушка Васса	17
Коза Милка	18
«Заготзерно». Победа	19
Глава 2. 1945–1952	20
Разбитые дома. Клички	21
Школа	23
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Геннадий Дмитриевич Сердитов

Я – Геха

© Геннадий Сердитов, 2024

© Издательский дом «BookVox», 2024

Спляши, цыганка, жизнь мою.

Александр Блок

*Мальчишество заковано в рассудок хвоинкой в жёлтый камень
янтаря.*

Олжас Сулейменов

Писать мемуары, по-моему, удел людей публичных, но уже «сошедших с поезда». Как поётся, «славою увиты, только не убиты». А если и со славою напряжённо, тогда как быть? Медных труб не было, а огонь и воду, помнится, проходили, да и потомки – вот они, раньше было не до них, а теперь успеть бы рассказать им «кем я был, что знал и где бывал». Таких ещё Жюль Ромен (тот, который Луи Фаригуль) ободрил: «Бурная судьба может компенсировать личную посредственность». Значит, не только маршалы и президенты, но и офисный планктон и даже бомжи могут поделиться своими воспоминаниями, было бы что путное вспомнить.

Нравится мне английское выражение «A blast from the past» – вспышка из прошлого. Стоит к нему добавить слова Грегори Робертса: «Если ты не смеёшься над своей судьбой, значит, ты не понял шутки», да ещё слова Марка Твена: «Глупости получают случайно, а потом становятся лучшими моментами в жизни», присовокупить наше российское «Хорошо, когда есть что вспомнить, жаль, не всё можно рассказать внукам» – вот вам и кулинарный рецепт для мемуаров. Ему и собираюсь следовать. И если «я в этой драме возьму себе лучшие реплики», не обессудьте, таковы свойства человеческой природы. И памяти.

Глава 1. 1937–1945

Кронштадт. Старая Деревня. Начало войны

Родился я в Кронштадте в семье флотского офицера, как тогда говорили, командира КБФ (Краснознамённого Балтийского флота). Отец, папа Митя, был родом из Прилузского (по реке Луза) района в Коми. Он хорошо стрелял и бегал на лыжах (таёжная закваска!), кажется, даже был чемпионом Кронштадта по бегу патрулей (думаю, что-то вроде нынешнего биатлона).

Мама Тоня родилась в Боровичах Новгородской области. С детства отличалась боевым мальчишеским характером. Рано по нынешним меркам вышла замуж и к девятнадцати годам родила дочь Галю, а через пять лет появился на свет и я.

Жизнь в Кронштадте по причине малых лет помню очень смутно и отрывками, все мои сведения о ней сложились из разглядывания старых фотографий и рассказов мамы Тони. А рассказы эти всегда были как воспоминания о чём-то необыкновенно солнечном и счастливом. Ещё бы: время было довоенное, был жив папа Митя, сильный, надёжный, красивый... Мама Тоня не работала, хотя и рвалась, но муж не пускал, говорил: «Ещё наработаешься». Как в воду глядел. Несколько потрёпанных буроватых любительских фотографий, всё, что удалось сохранить маме Тоне за годы скитаний и лишений, были делом рук папы Мити. Странно, но суровый таёжный охотник, погрузившись в городскую цивилизацию, всерьёз увлёкся фотографией, подолгу возился с громоздкой камерой и стеклянными негативами. Жаль, но большинство его снимков пропало во время войны.

По словам мамы Тони, в Кронштадте у отца было несколько друзей, но самым близким был сосед, старший лейтенант Мелехов. Они с ним часто и подолгу играли в шахматы. Однажды случилось ЧП – чрезвычайное происшествие.

Повесился матрос из команды Мелехова. Вспомнили, что старший лейтенант незадолго до этого за какую-то провинность строго отчитал бедолагу перед строем. Пока шло разбирательство, Мелехова посадили под домашний арест, ему светил трибунал. И срок. Времена были не самые весёлые, «ежовские», неожиданно пропадали командиры с гораздо более высокими званиями и должностями. Ходили слухи, что в Ленинграде полно немецких шпионов. От Мелехова, как от заражённого холерой, отшатнулись дружки-приятели. Но не папа Митя. Только теперь не от случая к случаю, а каждый вечер они часами играли в шахматы. Не ведал папа Митя, чем это отзовется спустя годы. Недаром англичане говорят: «Пусти хлеб по воде, и он вернётся к тебе с беконом».

Ситуация разрешилась неожиданно. На имя несчастного матроса пришло письмо от некой гражданки из Ленинграда. Следователи вскрыли его. Если коротко, там было написано: «Петя, милый, зря ты психанул, это был никакой не кавалер, а мой двоюродный брат из деревни». Съездили по обратному адресу, побеседовали с дамой матросского сердца, и с Мелехова сняли все обвинения.

Переехав из Кронштадта в Ленинград, мы поселились на окраине города, в Старой Деревне, в двухэтажном дощатом доме. Думали, что временно. Папа Митя сказал, что скоро мы переедем в красивый новый дом на улице Чапыгина, но грянула война. И пришлось нам провести в Старой Деревне немалую часть жизни. Правда, без папы Мити.

В воспоминаниях мамы Тони начало войны не предвещало больших и долгих ужасов. На воскресенье, двадцать второе июня, к нам были приглашены гости, в основном из Кронштадта, чтобы отметить двадцать восьмой день рождения мамы Тони. Она наготовила разных вкусностей, напекла пирогов. И тут такая незадача – война. А столько всего наготовлено, куда девать? На дворе лето, о домашних холодильниках тогда ещё никто слыхом не слыхивал. Этот

бытовой эпизод как-то заслонил собой вселенский масштаб предстоящих бед. Да о них тогда никто ещё и не подозревал. Никто ещё не представлял себе, каких огромных размеров беда над ними нависла. Казалось, что война где-то там, как было совсем недавно с финнами и японцами. А портящиеся закуски – вот они, зримо стоят на полу в судках и кастрюлях. И это всего за несколько месяцев до холода и голода. Мама Тоня иногда вспоминала об этих выброшенных на помойку яствах и тяжело вздыхала.

Помню отдельные эпизоды начала войны. Вот мама Тоня и сестра Галя мажут клейстером газетные полоски и наклеивают их крест-накрест на оконные стёкла. Вот в ста метрах от нашего дома за железной дорогой разбивается самолёт, сестра Галя и ватага дворовых пацанов бегут на него посмотреть, оставив меня, ревущего от обиды, возле дома.

Но ярче всего я запомнил отъезд в эвакуацию. Раздался стук в дверь, вошёл матрос, сказал, что командир приказал отвезти нас на вокзал, машина ждёт во дворе.

Мама Тоня в спешке схватила два чемодана, побросала туда кое-какие вещи из одежды, не трогая зимних, – думала, что до зимы война закончится и мы вернёмся. Когда она отвернулась, сестра Галя сунула в чемодан под стопки одежды свою любимую куклу размером с годовалого ребёнка. Обнаружив её на другом конце нашего поспешного бегства, мама Тоня расстроилась, пожурила дочку, но куклу сберегла. Была эта кукла тряпочная, с фарфоровой головой. Её сестре Гале подарил папа Митя. И эта кукла ещё долго, лет двадцать, сидела у нас на комодке, свидетельница, да что там, участница наших скитаний и мытарств. И зримая память о папе Мите, а потом и о сестре Гале. Мама Тоня иногда шила ей новые платья, подкрашивала фарфоровые губы и щёки губной помадой.

Эшелон в тыл

На Московском вокзале мы сидели на чемоданах в большой толпе, когда к нам пробился папа Митя в синем морском кителе и фуражке с крабом. Он сказал, что они с товарищем бросили жребий, кому бежать на вокзал, а кому нести службу за двоих. Повезло папе Мите, правда, провожать ему выпало сразу две семьи – свою и товарища. Потому-то и оказались у него на руках два карапуза, я и сын папиного товарища. Помнится, мне это очень не понравилось. Это была, пожалуй, самая сильная эмоция в процессе прощания. А папа расцеловал нас всех и исчез. Больше я его никогда не видел.

Эшелон состоял из товарных вагонов, так называемых теплушек. В нашу теплушку матросы занесли высокий мешок флотских сухарей, и поезд тронулся. По словам мамы, нас несколько раз бомбили, особенно сильный налёт был в районе Волховстроя, но всё обошлось. На следующей остановке я видел, как мимо нашего вагона матросы провели человека с заложёнными за спину руками. Мама говорила, что это был начальник эшелона, арестованный за остановку поезда на мосту под бомбёжкой, якобы его там же и расстреляли. А что, вполне могли без суда и следствия. Война.

На каком-то полустанке нас высадили без вещей, якобы эшелон понадобился для переброски войск. Старинный пакгауз из красного кирпича уже был забит людьми: до нас тут высадили москвичей. Ленинградцев разместили в болоте за железнодорожными путями. Это нас и спасло.

Мама расстелила какую-то тряпицу, мы на неё легли втроём, и мне было велено поджать ноги, чтобы не мочить их в холодной воде. Мама достала из сумочки и выложила на кочку перед нами бинты и йод. На всякий случай. Над нами шёл воздушный бой, но я ничего не видел, кроме белых облаков в голубом небе. Мамин младший брат Витя, мой дядька, в это время учился в лётной школе, поэтому мама воспринимала все наши самолёты как Витин. Когда же один из них загорелся и рухнул, она заплакала: «Витеньку сбили!»

Ещё запомнилось, как на соседней кочке какого-то малыша заворачивают в полотенце, а на этом полотенце в районе его живота проступает большое кровавое пятно. Сестра Галя с чайником побежала на станцию за кипятком, и тут начался очередной налёт. Люди, стоявшие под навесом пакгауза, схватили её за руку и поставили рядом с собой. Помню, как мама Тоня, стоя на коленях, надрывно кричит: «Галя, беги сюда, умирать будем вместе!»

Меня эти слова очень удивили потому, что я воспринимал всё происходящее как игру и не хотел, чтобы кто-то из нас умирал. Сестра прибежала к нам, и в это время в злосчастный пакгауз угодила бомба. Потом мы куда-то бежали в орущей толпе, я сидел на маминых руках и слышал, как поют птички. Я поделился этим радостным открытием с мамой, она поддакнула – да, сынок, это птички поют. На самом деле это нас расстреливали самолёты, и так «весело чирикали» пули, врезаясь в насыпь. Ещё меня удивило, что сбоку от насыпи горела трава, и какая-то женщина бросила туда ребёнка. Вот тут-то я и испугался – уж очень не хотелось, чтобы меня тоже бросили в огонь. Много позже мама сказала, что та женщина сошла с ума. И ещё мама говорила, что, когда нас вернули в теплушки, многих наших вещей там не оказалось. Жаль, что при жизни мамы я не спросил, как назывался тот полустанок, какого числа мы покинули Ленинград. Судя по всему, это было в начале сентября 1941 года, за несколько дней (или часов) до смыкания блокадного кольца. Оно сомкнулось буквально за нашими спинами. А мы проскочили. Хотя и не все.

Не знаю, куда шёл наш эшелон, мы не собирались ехать в нём до конца. Отец велел нам пробиваться к его родне в Коми. Помню ночной автобус, голос, сказавший: «Мураши», раскисшую дорогу, ночную деревню и людей с фонарями.

Жизнь в деревне Чёрныш я не помню, разве что большую, в пол-избы, печь да горячие шаньги – такие чёрные ватрушки с картошкой. И фразу на языке коми: «Вай менем нянь» – «Дай мне хлеба». У самого входа стояла тёмная деревянная кадка. Мама Тоня сказала, что там была оленья кровь. Вошёл какой-то человек, зачерпнул ковшом из этой кадки и выпил.

В деревне мы не задержались. Маме нужна была работа, а Гале школа. Мы отправились в Сыктывкар.

Сыктывкар

В Сыктывкаре первое время мы ютились в комнатухе на Заводской улице у младшей папиной сестры Нюры. Я целыми днями сидел дома один. Однажды ко мне зашёл, кутаясь в одеяло, странный человек и жестами попросил поесть. Потом схватил со шкафа красную резиновую губку и попытался её съесть. Как потом оказалось, это был польский солдат. Их тогда много было в Сыктывкаре, так же как и польских евреев, бежавших от немцев и торговавших на улицах всякой всячиной.

Какое-то время мама работала в столовой ремесленного училища, мы с сестрой ходили туда поесть. Помню зал с длинными столами, заваленными грязной посудой, стаи спящих под ногами крыс. И среди этого бедлама аккуратно одетый белый старичок, который достал из кармана складную ложечку и стал выскребать объедки из грязной посуды. Через много лет, когда в альбоме польского карикатуриста Збигнева Ленгрена я увидел комиксы с профессором Филютеком, я сразу узнал его – так это он тогда выскребал объедки!

Меня устроили в детский сад, я туда ходил без провожатых. Напротив детского сада, через дорогу, стояла тюрьма. Туда часто приводили колонны заключённых. Прежде чем завести в ворота, их подолгу держали на улице сидящими на корточках в строю. А мы, дети, стояли у низкого заборчика и глазели на них. А они на нас. Ещё помню, что в садике мы разучивали гимн Советского Союза. Я до сих пор могу без запинки его спеть. Хотя из последующих текстов гимна страны мало что помню. Запомнилось и такое событие. Какие-то шефы подарили детскому саду тушу тюленя (или моржа?). Из него было приготовлено чёрное мерзко пахнущее густое варево. Нам объявили, что «это» можно есть без ограничения, так что весь детский сад тогда наелся досыта.

И ещё. Под Новый год (1943?) во дворе детского сада свалили кучу ёлок и нам разрешили растащить их по домам. Я выбрал самую красивую и тащил её домой, сняв варежки. Мороз, говорят, был за тридцать, и я обморозил кисти рук. Помню жуткую боль, когда мои руки отходили в миске с холодной водой. Как я тогда плакал, вернее, орал!.. Когда лет через двадцать я занялся альпинизмом, то в высокогорье кисти рук у меня замерзали в первую очередь. А кожа на костяшках кистей ещё долгие годы была красной.

Отец

Папа Митя оставался в блокадном Ленинграде, у меня хранится удостоверение, выданное ему 31 декабря 1941 года и подписанное начальником ленинградского гарнизона генерал-лейтенантом Кабановым и полковником – комендантом города (подпись неразборчива).

Ещё у меня хранятся блокадные письма отца. Расскажу два эпизода из них. Первый. Отец, чтобы не мотаться каждый день на край города в Старую Деревню, получил комнату на улице Гоголя (ныне снова Малая Морская). Так вот, он пишет, что, пока шёл от своей квартиры на службу по Невскому до Садовой улицы, видел вдаль всего одного человека – какая-то фигура пересекла Невский проспект в районе Фонтанки. Кстати, отец начинал свой путь по Невскому в районе знаменитой теперь надписи на стене «Граждане! При артобстреле...»

Второй эпизод. В блокаду у папы Мити развился туберкулёз. Для поддержания здоровья его положили на некоторое время в госпиталь в Михайловском замке. Во время очередного артобстрела снаряд угодил в операционную. Там погибли врачи, медсёстры и раненые, начался пожар, из палат всех раненых, включая папу Митю, спустили в подвал. При тушении пожара подвал залило водой, и к утру лежащие на полу люди к нему примёрзли. После этого отец оказался в Морском госпитале, а затем был эвакуирован в город Киров. Мама Тоня ездила к нему из Сыктывкара. Говорила, что папа скоро выпишется из госпиталя и приедет к нам. Но 18 марта 1943 года папы Мити не стало. Похоронили его в братской могиле в Кирове, и на долгие годы он остался в нашей семье в светлых воспоминаниях да в старых фотографиях, везде в военной форме.

Нам прислали его синий китель, кожаные перчатки, компас и справку о том, что по достижении восемнадцати лет я могу получить отцовский наградной наган. Эту справку мама Тоня сразу уничтожила.

Уже во взрослой своей жизни я много раз проехал туда и обратно по железной дороге, идущей из Ленинграда на восток северными лесами через Вологду – студентом на уборку целинного урожая в Казахстан и на производственную практику в Юргу, затем, уже инженером, в многочисленные командировки на Урал и в Сибирь. И каждый раз, проезжая Киров, склонял голову, помянув отца. Много позже мой младший внук Дима, тёзка папы Мити, раскопал в Интернете документы на своего прадеда и переслал их мне. Так я узнал точное место воинского мемориала, где был погребён папа Митя. Глянул на карту города Кирова и понял, что этот мемориал находится всего в сотне метров от железнодорожных путей, по которым я время от времени катил на восток и обратно. А по дороге на целину наш эшелон из теплушек, подобных тем, что вывезли нас из Ленинграда в сорок первом, простоял много часов на запасном пути станции Киров. И мы играли в футбол вдоль ограды кладбища, на котором в братской могиле лежал папа Митя. Я этого не ведал и где-то в душе корил себя за это незнание.

Город Киров

Получив послание от своего киевского внука, я тотчас засоби́рался в Киров. Было самое начало ноября, самолёт из Питера в Киров летал только летом, и я отправился поездом. По прогнозу в Кирове меня ожидал мороз, и, хотя в Питере было слякотно, моросил дождь и было плюс шесть, я оделся потеплее. Соответственно, в купе я ввалился порядком вспотевший. День на работе выдался тяжёлый, на улице уже стемнело, и я сразу улёгся спать. Наутро, выпив чаю из МПСовского стакана в традиционном мельхиоровом подстаканнике, я вышел из купе, раздвинул занавески на окне и стал наблюдать проезжающий за окном пейзаж. Пасмурно, привычная для меня по этой дороге картина: телеграфные столбы, ели, голые берёзы, тоскливый кустарник... И всё-таки многое в этой картине было не так. На зелёных пастбищах я не увидел ни одного стада, некогда ухоженные картофельные поля заросли бурьяном. Посреди одного такого поля стоял ржавый раскуроченный трактор. На редких полустанках полуразрушенные постройки каких-то мастерских – выбитые стёкла, выломанные двери. И совсем не видно людей. Хотя нет, вот на переезде стоит цыганка. Девчонка-подросток. Серая куртка, резиновые сапоги, цветастая юбка. Между юбкой и сапогами белеют худые голые ноги. На согнутой в локте руке висит оцинкованное ведро. Из соседнего купе вышел мужчина в массивных очках, по виду типичный киношный интеллигент. Поздоровался. Встал рядом. Долго молчал, глядя в окно. Потом спросил:

– Как вам эта картина?

– Грустно.

– «Свой путь продолжали трамы уже при капитализме», – нараспев спародировал он Маяковского. – При виде такого бардака обыватель начинает мечтать о сильной руке. И тогда на свет появляются диктаторы.

Я промолчал.

В Кирове было минус тринадцать. Я устроился в маленькой, всего на несколько номеров, частной гостинице рядом с вокзалом. Судя по карте, нужное мне Лобановское кладбище было где-то поблизости. В самом деле, поутру, пройдя немного по привокзальной улочке, я увидел кладбищенские ворота, а сразу за ними небольшую уютную шатровую церквушку, обозначенную на карте как церковь пресвитера Михаила Тихоницкого. Поскрипывая свежевывающим снежком, по широкой аллее я вышел к мемориалу. Киров был далёк от линии фронта, в его тыловые госпитали везли раненых, больных, калеченных солдат и офицеров – неизбежный и страшный результат работы мясорубки войны. В этих госпиталях не всех удавалось вырвать из лап смерти, потому-то и множились в тогдашних тыловых городах братские могилы. Я шёл вдоль стены, читая таблички, и вдруг будто уткнулся лбом в кирпичную кладку, читаю: «Старший лейтенант...» И далее моя фамилия, имя и отчество отца. Папа Митя... Я более семидесяти лет думал об этой встрече, но оказался совершенно к ней не готов. В детстве я мечтал, чтобы папа Митя остался жив. Пусть в другом городе, в другой семье, но жив. С годами эта мысль утратила свою энергию, стала прозрачной и невесомой, но, как оказалось, не ушла насовсем. При виде этой таблички она рухнула. Отцовская смерть окончательно стала фактом. Я расплакался. Высоцкий пел о братских могилах: «Сюда ходят люди покрепче...» Куда там «покрепче», слёзы душили меня, стекали на куртку и замерзали на раннем кировском морозе. Я оглянулся и подумал: хорошо, что меня никто не видит, особенно мои дети и внуки. Ведь я сейчас на минутку превратился в того трёхлетнего несмышлёныша, который на Московском вокзале сильно обиделся на папу Митю за взятого на руки другого мальчишку. Я прошептал: «Прости, папа». Прости за ту дурацкую обиду при прощании навсегда, прости за эти долгие семьдесят лет, что я не приходил к тебе, что много раз проехал мимо по железной дороге, прости... Потом я присел, разгрёб руками ещё неглубокий снег, складным ножиком наковы-

рял мёрзлой земли и набрал её в чёрный пластмассовый футляр из-под разрывного пироболта, подобранного когда-то на память из мусора во время стендовых испытаний спроектированного мною устройства.

Потом я до вечера бродил по городу, представлял себе, как по этим улицам ходил отец, выйдя из госпиталя на разрешённую врачом прогулку. Папа Митя ходил тут, пошатываясь от слабости, едва переставляя ноги. Выходил на высокий берег Вятки, вглядывался в заречные лесные дали, наверняка вспоминал нас. Где-то там на севере, за синим лесным горизонтом, всего-то в трёх сотнях километров был Сыктывкар, называвшийся ещё Усть-Сысольском, когда он уходил в Красную армию и сфотографировался там на память в компании своих деревенских друзей. Теперь в Сыктывкаре обитали мы, его семья, тёплый приют его чаяний и надежд. Представляю, как ему тогда было одиноко, как рвалось его сердце к нам, как хотелось жить... Где-то здесь, судя по письмам, он покупал мёд в надежде на его целебную силу, в надежде на чудо. Ведь сказано: «Бог идеже хоче, побеждает естества чин». Сильно, с кровью, кашлял, хотя и не курил. И местный мороз, будто бы и привычный с детства, почти родной, немилосердно пробирал его до костей. Кстати, и я после питерской осенней мороси с неприщипки прилично продрог на этом морозе и зашёл в маленький частный ресторанчик.

Заказал пельмени, оказавшиеся на удивление пышными и вкусными. Вспомнил открывавшийся с берега Вятки вид бескрайних лесов и заказал жаркое из грибов, а ещё графинчик водки и стакан горячего чая. Выпил стопку водки, помянул отца. Помянул с задержкой в семьдесят лет. Остатки водки смешал с горячим чаем и выпил – согрелся классическим варяжским грогом. До конца дня я прошёлся по местным церквям и музеям, надолго задержался в гулко пустой картинной галерее имени братьев Васнецовых, выходцев из тогдашней Вятки. Вечером в местном театре посмотрел «Любовь и голуби» в исполнении местных театральных звёзд, среди которых даже значились заслуженные и народные, но незнакомые мне артисты.

Вернувшись в питерскую слякоть, я поехал на Серафимовское кладбище и высыпал на могилу матери часть земли из чёрного футляра. Остатки высыпал на газон памятника жертвам блокады. Одной старой занозой в моей душе стало меньше. Прости, папа Митя. Кстати, всё это скорбное, скажем так, «мероприятие» хронологически уместилось в три даты, весьма значимые для меня: я выехал из Питера сразу после своего дня рождения, землю с братской могилы в Кирове набирал в день кончины матери и высыпал её в Питере в день рождения отца. Случайное совпадение? Может быть. Но где-то в глубине души я всегда верил в магию чисел, говоря по-научному, в нумерологию.

Вернёмся в Сыктывкар времён войны.

Помню, что в Сыктывкаре маму Тоню посылали на лесозаготовки, где ей приходилось работать по пояс в холодной воде. В результате её тело покрылось крупными красными чирьями, и её дома лечили соседки, прикладывая к чирьям печёный лук. Ещё помню какой-то столярный цех, где никто не работал, наверное, все ушли на фронт, потому что это не были выходные – во время войны выходных не было. Пол этого цеха был покрыт древесной стружкой и опилками, в которых копались десятки ребятишек с окрестных улиц, выкапывая иногда то шахматные фигурки, то ружейные приклады. Посреди цеха были уложены рельсы и стояла вагонетка. Бесплатный аттракцион доставлял массу радости ватагам пацанов, которые по очереди катали на ней друг друга. Радостный крик стоял такой, что его, наверное, было слышно за версту. В этом бедламе и крике не сразу поняли, что один пацан кричит от боли – чугунное колесо вагонетки переехало кисть его руки.

Лёнька

В какой-то момент мы переехали жить в двухэтажный бревенчатый дом, помню до сих пор его адрес: Интернациональная улица, 19. Улица была горбатая, мощённая булыжником.

Году в 1980-м летел я в командировку в Северодвинск, аэропорт Архангельска нас не принял из-за сильной метели, и наш лайнер вынужден был сесть в Сыктывкаре. Пассажиров завели в зал ожидания и велели слушать объявления. Я вышел в город и спросил у таксистов, далеко ли находится улица Интернациональная.

– Да вы на ней как раз и стоите, – ответили мне.

Был по-северному чёрный морозный вечер, его рвали в лоскутья лучи фар и прожекторов. Ревели двигатели самолётов, кричали репродукторы, ключья пара поднимались от людей и моторов, на сколько хватало глаз, всё двигалось, работало, шумело. И понял я, что это огромное аэродромное хозяйство навсегда поглотило и улицу моего детства, и детский сад, и тюрьму... Боясь отстать от самолёта, я ещё несколько часов толкался в аэропорту. Это был современный индустриальный мир, ни разу не похожий на солнечный тыловой провинциальный Сыктывкар моего далёкого детства.

А тогда на Интернациональной улице в нашей с сестрой компании появился Лёнька. Был он на год или два старше моей сестры Гали и приходился внуком хозяевам дома, где мы заняли каморку под лестницей. Мать у Лёньки умерла рано, а отец, дядя Толя, художник, вернулся с фронта с прострелянной кистью правой руки. По этой причине он не писал картин, а малевал левой рукой на клеёнке лебедей и продавал их на рынке. Дядя Толя был по совместительству ещё и запойным алкоголиком. И буйным во хмелю, помню, как его, бьющегося на полу, всем миром связывали полотенцами.

Лёнька же оказался на редкость активным пацаном. У него была книга Перельмана «Занимательная физика», и он постоянно пытался проделать описанные в ней опыты. Кроме того, он учился играть на виолончели. И таскал нас с Галей по своим любимым местам в Сыктывкаре. То мы лезем на парашютную вышку, на лестнице и площадках которой почти все доски выломаны, то ползём по ржавому железнодорожному мосту, где досок никогда и не было, то переправляемся на большой лодке на другой берег Вычегды, где я не запомнил ничего, кроме валявшегося в песке белого зубастого черепа какого-то крупного животного. Запомнилась такая сценка: мы сидим на высоком берегу Вычегды, по реке буксир тянет баржу с лесом, а на барже полыхает пожар. Какой-то человечек ползёт по канату с баржи на буксир. Было очень смешно, хотя вполне возможно, что этого человечка потом судили. И даже расстреляли. Или отправили на фронт. В штрафбат.

Вести с фронта слушали все. Радио было включено постоянно. Левитановское «от Советского информбюро» завораживало, заставляло всех замолчать и повернуться к чёрной тарелке в комнате или к серому фанерному растробу на уличном столбе. В остальное время звучали песни – Лемешев пел «Три деревни, два села» или мужской хор затягивал «Распрягите хлопцы коней». Ходили мы и в кино. «Она защищает Родину», «Неуловимый Ян», «Антоша Рыбкин» – эти фильмы мы смотрели по несколько раз.

Боровичи

В 1944 году, когда война откатилась на Запад, мама засобиравалась в Ленинград, мол, блокада снята, нечего нам тут сидеть. Мне в ту пору уже шёл седьмой год, Гале двенадцатый, маме было тридцать один.

От Сыктывкара до Котласа мы добирались по реке Вычегда в трюме баржи, лишь иногда нам с сестрой позволялось подняться по трапу на верхнюю палубу, «подышать свежим воздухом». Навсегда запомнил серое небо холодных белых ночей, высокие тёмные избы с крохотными оконцами на пустынных скучных берегах и нависающие над рекой скалы. Всё это накапало на меня из далёкого детства, когда я смотрел фильм «Холодное лето 53-го».

В Котласе мы должны были ночью сесть на поезд. Мы бежим с билетами вдоль поезда к нашему литерному вагону. Подбегаем, на ступеньках сидит проводник и какой-то пьяный офицер в галифе с подтяжками и в белой нижней рубашке. Мама протягивает билеты, офицер сапогом в лицо отпихивает её и ругается матом. Я очень испугался, а тут ещё стоящий рядом паровоз выпустил на нас пар с громким свистом. Такого страха и такой обиды я не испытывал в жизни ни до ни после. Хотя жизнь моя и не была безоблачной, пережитое в детстве иногда напоминало мне, что «бывает и хуже». А тот офицер... Может быть, он был на войне героем, может быть, выжил на фронте и дожил до преклонных лет, рассказывая о своих подвигах. Мне это неизвестно.

И всё же мы уехали из Котласа, правда, не в Ленинград, а в Москву. Помню, что в Ярославле наш вагон остановился рядом с огромным штабелем дырявых касок. А ведь в каждой из них была когда-то чья-то живая голова, я видел много таких касок в кино на живых солдатах. Вид искорёженных касок никак не складывался в моей голове с тем, что я видел на экране, где наши храбрые солдаты в касках стреляли из винтовок и бежали в атаку.

В Москве выяснилось, что в Ленинград нам билеты не продадут, так как ещё идёт война и город пока закрыт. Мама решила, что мы поедем к её маме, бабушке Вассе, в Боровичи, это уже на полпути к Ленинграду. Мы с сестрой успели покататься на московском метро. Мне всё казалось, что я вот-вот увижу Сталина, но что-то не сложилось, и я его так и не увидел. Иначе мои воспоминания были бы намного богаче.

Остатки 1944 года мы провели в Боровичах. Мама устроилась на работу диспетчером в гараж. Сестра пошла в школу, меня решили отправить учиться на следующий год уже в Ленинграде – война шла к концу.

Вскоре в Боровичах к моей великой радости появились Лёнька с дядей Толей из Сыктывкара. Видимо, дядя Толя всерьёз решил жениться на нашей маме Тоне, но его неодолимая тяга к спиртному и наша строгая бабушка Васса не позволили ему стать нашим отчимом. Он устроился художником в местный театр, где выступали эвакуированные из Ленинграда артисты. Они с Лёнькой там же и поселились. Лёнька всё свободное время проводил с нами, он быстро освоился в Боровичах, как будто всю жизнь лазал по местным парашютным вышкам и железнодорожным мостам. Мы с сестрой, как и в Сыктывкаре, старались от него не отставать.

Помню эпизод, когда в театре во время утреннего представления для детей мы втроём залезли на балки, на которых висели декорации. Под нами шустрый клоун учил детей, сидящих в зале, как надо быстро одеваться, чтобы не опаздывать в школу. Зал по его команде дружно считал: «Раз... Два... Три!», клоун убежал за ширму, и мы сверху видели, как сидящие там две женщины дёргают за шнурки на его одежде, одежда с него спадает, а под ней оказывается такая же, но совсем другого цвета. При счёте «три» клоун выскакивал на сцену и вскидывал руки: «Вуаля!» Зал неистово аплодировал. И тут со мной случился конфуз – я описался прямо на голову этого «мага и волшебника». А не надо обманывать детей! Внизу началась подозритель-

ная суета, и нашей компании пришлось срочно с театральных колосников слезать и убегать прочь.

Потом мама с Галей уехали в Ленинград, а я остался с бабушкой Вассой. И в одночасье превратился из любимого сыночка и младшего братика в неуклюжего и ненасытного иждивенца и нахлебника, вечно путающегося под ногами. Лёньку я больше никогда не видел, хотя вспоминал часто. Проводя большую часть времени в компании сестры и мамы, а потом ещё и бабушки, я, естественно, тянулся к мужикам. Иметь такого старшего брата, как Лёнька, никогда не унывающего, предприимчивого и смелого – вот неосознанная тогда и неосуществлённая никогда моя мальчишеская мечта. Интересно, как сложилась судьба этого безусловно незаурядного человечка. Я был слишком мал и не знал его фамилии, чтобы спустя годы его разыскать. А потом я подрос и, как поётся в песне, «закружился в вихре лет».

Бабушка Васса

Бабушка Васса в ту пору жила одна. Большую семью, заполнявшую когда-то весь дом шумом и смехом, время и война безжалостно сократили, а выживших разметали по свету.

Я уже не помню хронологию моей жизни в Боровичах, мама частенько отвозила меня к бабушке на каникулы, а полгода, кажется, в четвёртом классе, я даже ходил там в школу. Во всяком случае, я на правах своего входил в ватагу огольцов Порожской улицы, вернее, того её конца, что протянулся от улицы Боровой до Тинской. Дальше домов не было, начинался спуск к небольшому болоту. С местными огольцами я играл в футбол и лапту, стоял в очередях за хлебом и сахаром, купался в речках Мста и Вельгия, прыгал на лыжах с самодельного трамплина зимой и в песчаный карьер летом, участвовал в набегах на совхозные поля с горохом и так далее.

Как-то бабушка Васса затеяла чистку печной трубы и потащила меня на чердак – я должен был выносить на двор ведро с сажей. На чердаке между двумя печными трубами, от круглой печки в бабушкиной комнате и от плиты-лежанки на кухне, лежал так называемый боров – горизонтальная кирпичная труба, так что от двух печек сквозь крышу проходила только одна общая труба. Бабушка, открыв на борове маленькую дверцу, выгребала сажу и приговаривала: «Моя ты печечка, тебе не хочется курить, а я, старая, тебя заставляю. Вот и забились твои лёгкие сажей». Передавая мне полное ведро сажи, она говорила: «Гляди, гляди, вот вырастешь большой, будешь курить, твои лёгкие так же забьются сажей, да никак будет их не почистить». «Не буду курить», – обижался я. «Будешь, будешь, – говорила бабушка, – все мужики курят». А ведь её урок подействовал, я так и не стал курить, хотя много раз и пытался начать. Слишком жутко выглядела та жирная сажа в ведре. Вспоминал я эту сажу, когда карабкался по высокогорным скалам и когда работал в железном чреве подводной лодки. Мне, некурящему, было там намного легче, чем моим курящим товарищам.

Где-то я прочитал, что английские огородники для защиты своих растений от холода накрывают их на ночь специальными «стеклянными колоколами». Бабушка Васса для этой цели использовала простые стеклянные банки, которые на день складывала под крыльцо. И вот однажды, покорённый своеобразной красотой зелёных лягушек, которые в великом множестве водились в болоте под нашей горой, я наловил их и сложил в эти банки. Откуда мне было знать, что бабушка очень боялась лягушек и что эти банки ей понадобятся в тот же вечер... Короче, был я бит, что по бабушкиным понятиям было самой эффективной воспитательной процедурой. Я же битья не любил, особенно когда это касалось персонально меня. Ну не нравилось мне, когда меня порют.

Коза Милка

У бабушки была коза Милка, и я, чтобы отработать свой хлеб, должен был её пасти. Однажды, когда мы с Милкой паслись на болоте рядом с песчаным карьером, я воткнул в сырую болотистую почву палку, привязал к ней Милку, а сам отправился на карьер прыгать с кручи в песок. В один из прыжков я угодил босой ногой на острую кость и здорово поранился. Чтобы унять бьющую из раны кровь, я, хромя, отправился обратно на болото, где рядом с Милкой оставил китель, доставшийся мне в наследство от отца. К моему удивлению, козы на месте не было. А китель лежал. Я оторвал от него подкладку и кое-как перевязал ногу. За этим занятием меня и застала разъярённая бабушка Васса. Оказывается, Милка по дороге домой забежала в соседский огород и накинулась на капусту. Помню, что дома били тогда меня кочергой, а это совсем не то же самое, что ремнём или розгами. И я инстинктивно прятал голову под табуретку, чтобы остаться живым. О чём я тогда думал? Только не об отсутствии детского омбудсмена и законов, запрещающих домашнее насилие над детьми. Я очень жалел, что у меня больше нет папы, большого, сильного и очень доброго папы. Он бы меня в обиду не дал. Да и сестра Галя смогла бы меня защитить, но она уехала.

После битья бабушка промыла рану на моей ноге, приложила к ней листья подорожника и перевязала. Потом умыла меня, передела и накормила вкуснейшим картофельным пюре на козьем молоке с кусочками американской тушёнки, что обычно делала только по праздникам. В тот день я гулять на улицу не ходил, отлёживался.

Да, а нога моя заживала дольше, чем побои на теле, и я ещё полгода боялся ставить ногу на всю ступню, так и ходил ступая на носок.

«Заготзерно». Победа

И ещё один памятный эпизод из боровичского детства. Сильные морозы. К бабушке Вассе заезжают дальние родственники из деревни. На гнедой лошади, запряжённой в сани-розвальни, они едут в «Заготзерно». Я увязался с ними – ещё бы, когда ещё выпадет счастье прокатиться в санях, в которые запряжена живая лошадь! На площадке перед конторой «Заготзерно» на укатанном и унавоженном снегу скопилось множество людей и подвод. До сих пор помню эту картинку: десятки, а то и сотни румяных людей, одетых в овчинные тулупы, прыгают и толкаются, чтобы не замёрзнуть, галдят, хохочут, Вполне можно было снимать массовку для какого-нибудь исторического фильма, всё было, как и сотни лет назад: лошади, сани, овчинные тулупы и мороз... Этот мороз и подвёл меня. Мне в моей скудной городской одежке не захотелось вылезать из саней, и я начал засыпать. Очнулся уже в доме на Порожской улице – голенький, лежащий на бабушкиной плите-лежанке. Несколько пар сильных рук растирают меня водкой, боль пронизывает всё моё тело, а бабушкин голос на чём свет стоит костит наших деревенских гостей. Подвёл я их. Но выжил.

Весной 1945 года бабушка вдруг получила письмо от пропавшего без вести сына Вити, лётчика, его как раз освободили из концлагеря Освенцим. Моя строгая и всегда сдержанная на эмоции бабушка Васса носилась по соседям с этим письмом в руках и в одной туфле на ноге: «Витенька жив!»

Бабушка Васса росла сиротой в семье старшего брата в деревне Зайцево. В многолетней крестьянской семье лишний рот всегда проблема. Поэтому с ранних лет была она отдана в услужение в барскую усадьбу немки Бергштейн, прозванной в народе Берсенихой. Смышлёная не по годам, расторопная и трудолюбивая девчушка выгодно выделялась на фоне остальной челяди и уже к шестнадцати годам была у барыни экономкой, а попросту ключницей. Такая судьба и вылепила бабушкин характер, она никогда не улыбалась, не напевала песен, не терпела ленивых и неряшливых, во всём любила железный порядок.

9 мая 1945 года в Боровичах стояла прекрасная солнечная погода. Гремели маршами репродукторы, на улицах было полно народа, люди кричали «Ура!», обнимались и плакали. Победа! Из госпиталя высыпали раненые в бинтах и гипсе, многие на костылях. Всех людей в военной форме толпа «качала» – в безудержной радости люди десятками рук подкидывали военных вверх.

На нашей улице стали появляться демобилизованные парни и девчата. Они бродили в гимнастёрках со споротыми погонами, поблёскивали медалями, шумели, смеялись, пели под гармошку. Однажды кто-то из них бросил с конца улицы в болото под горой гранату. Я сбегал вниз, увидел массу зелёных лягушек, лежащих на воде кверху светлым брюшком. Мне было жаль этих беззащитных красавиц, ведь они погибли от гранаты, которую делали для уничтожения фашистов, а не зелёных боровичских лягушек.

Появился и Витя – высокий, худой (при освобождении из концлагеря он весил всего сорок восемь килограммов), в какой-то невероятной шинели – то ли американской, то ли голландской. Была она необычного травяного цвета и с очень красивыми выпуклыми бронзовыми пуговицами.

Война закончилась, мы победили. Но мой папа Митя так и не вернулся, хотя долгие годы я надеялся на чудо. Но этого чуда так никогда и не случилось.

Глава 2. 1945–1952

В конце мая 1945 года мама Тоня забрала меня из Боровичей в Ленинград, а если точнее, в нашу оставленную на время войны квартиру в ленинградской Старой Деревне.

Старая Деревня, исторический район Петербурга на правом берегу Невской губы. Когда-то эти земли шведы отобрали у новгородцев, у шведов их отобрал царь Пётр и подарил барону Остерману. Тот устроил здесь мызу Каменный Нос, а рядом поселил пригнанных с Поволжья крепостных. И стало место их проживания называться без особых затей Деревней. У Остермана эти земли отобрала Елизавета и подарила их графу Бестужеву-Рюмину. Граф тоже пригнал своих крепостных, поселил их рядом со старожилами, напротив Каменного острова. А чтобы отличить одну деревню от другой, первую стали называть Старой, а вторую – Новой. В церкви между двумя этими деревнями Наталья Пушкина познакомилась с Дантесом, а на кладбище при этой церкви Пушкин написал стих «Когда за городом, задумчив, я брожу». Гении, они ведь не от мира сего. Не бродил бы задумчив между надгробий, не оставлял бы молодую жену без присмотра, глядишь, и остался бы жив. А так пришлось стреляться. Здесь же, неподалёку, на Чёрной речке. Почти рядом, если напрямки огородами и через Серафимовский погост.

С годами в Новой Деревне было устроено много увеселительных заведений, весьма популярных у петербуржцев: «Аркадия», «Ливадия», «Кинь грусть»... В обеих Деревнях любили квартировать цыгане, выступавшие в этих злачных местах. И, если помните, у Ильфа и Петрова, на теле Остапа Бендера находят ноты романса «Прощай, ты, Новая Деревня».

Для кого «прощай», а для меня в мае 1945 года «здравствуй». И «здравствуй» на долгие восемнадцать лет. И, как в стихах Олжаса Сулейменова, здесь для меня будет навсегда «мальчишество заковано в рассудок хвоинкой в жёлтый камень янтаря». Маме в тот год было тридцать два, сестре Гале тринадцать, мне шёл восьмой год. А папе Мите было бы тридцать восемь, но его с нами больше не было. Мама поставила на буфет его фотографию в морской форме, и он долгие годы внимательно смотрел на нас из-под козырька фуражки, как бы спрашивая: «Ну как вы там?»

Разбитые дома. Клички

Вокруг нашего дома были сплошные пустыри, деревянные дома в округе за войну либо сгорели, либо были разобраны на дрова. От них остались лишь кучи битого кирпича и ржавой домашней утвари – кровати, кастрюль, швейных машинок, короче, всего того, что нельзя было пустить на дрова. Мы с друзьями называли их «разбитыми домами» и целыми днями играли на этих развалинах в войну. Вокруг осталось только несколько хибар из кирпича или шлакоблоков. Да ещё несколько частных изб, в которых жили стародеревенские аборигены, коих наш дом называл «кулаками» за то, что те во время блокады наживались на горожанах, выменивая на «картошку-морковку» чьи-то фамильные драгоценности, а после войны все мы иногда горбачились на них, чтобы заработать какие-то гроши – вскапывали огороды, пропалывали грядки, вязали в пучки редиску и корешки, иногда торговали этими пучками на Ситном или Дерябкином рынках. Земля вокруг нашего дома была занята огородами, обнесёнными заборами из кроватей. Мы свинчивали со спинок этих кроватей шарики, которые при стрельбе из рогаток издавали свист «дырочкой в правом боку».

Мы, человек восемь пацанов, родившихся перед войной, сбились в ватагу по месту нашего обитания. Кто-то пережил блокаду здесь, в Старой Деревне, кто-то, подобно мне, вернулся с семьёй из эвакуации, кто-то с родителями приехал из деревни в поисках лучшей жизни. После войны город нуждался в строителях, да и вообще в рабочих руках, поэтому предприимчивые люди легко находили лазейки, как обойти тогдашние законы и перебраться в город из деревни. Как водится, вся ватага обзавелась кличками. Клички пацанов редко бывают нейтральными, необидными. Не помню, по какому случаю одного из Вовок прозвали Дураком, кличка эта оказалась долгоиграющей и живучей. Другой Вовка при игре в мяч вместо «Лови!» кричал по-деревенски: «Имай!», что оказалось веским поводом прозвать его Имаем. Иногда его называли хан Имай или просто Хан. Витька Кролик был старшим ребёнком в большой семье, где все его братья и сёстры были мал мала меньше. Мелкие, необыкновенно подвижные и ужасно прожорливые. Мы их всех без разбора звали Кроликами. Толя Кирпиченко всю войну провёл в детском доме. Оттуда он принёс в наш двор игру «в чижика» – так назывался деревянный брусочек с заострёнными концами, который при ударе палкой по кончику взлетал и куда-то там падал. Что надо было с этим делать, я не помню, игра эта у нас не прижилась, но Толя обрёл вполне заслуженно кличку Чижик. Женька Швец был среди нас самым старшим. И сильным. Он как-то побил задиристого Имая, а тот отбежал в сторону, утирая с лица слёзы, кровь и сопли, и заорал на своего обидчика: «Гербес! Гербес!» И Женька стал Гербесом, правда, так его пацаны называли только за глаза, уважая Женькины кулаки. Я как-то спросил забияку Имая: «А кто такой Гербес?» Он ответил: «Жили-были три бандита: Гитлер, Геринг и Гербес». Я сказал: «Скорей всего, не Гербес, а Геббельс». А он: «Какая разница? Всё равно у Женьки смешной нос, как на карикатуре в журнале».

У моего друга Бори было прозвище Брунчик. В избе его деда Ивана когда-то квартировал инженер немец Брунс. Ушлые соседи прозвали всех детей и внуков Ивана Брунчиками. Избу Бороного отца, дяди Ильи, в блокаду разобрали на дрова, и они жили в нашем доме. Дядя Илья иногда говорил, что он из рода Брунчиков, и Боря не считал эту кличку обидной, но так его звали только на той улице, где жили Брунчики – его двоюродные братья и сёстры. А в нашем дворе он был просто Боб. Теперь обо мне. Из Сыктывкара мы привезли мою зимнюю обувь – пимы. Это в Сибири пимами называют валенки. А мои пимы из Коми были мягкими сапожками, сшитыми из шкуры белого медведя, совсем как медвежьи лапы, не хватало только когтей. Вот и прозвали меня и в школе, и во дворе сначала Медведем, потом Мишкой. Но нога моя выросла, я переобулся в серые валенки и постепенно превратился из Мишки в Геху.

Правда, один мой одноклассник до самого выпуска звал меня Мишей, будучи уверенным, что это моё имя. А я и не возражал.

Когда мы подросли и немного поумнели, учились уже где-то в классе пятом-шестом, в нашем дворе состоялась тайная сходка носителей обидных кличек, они договорились сменить эти клички на другие, производные от фамилии. На этой сходке Вовка-Дурак по фамилии Пыхунов стал Пыхой, Витька Соловьёв из Кролика чудесным образом превратился в Соловья, Имай в Снетка, Толя Кирпиченко из Чижика в Кирпича. О своём решении они объявили нам, и мы согласились. К этому времени нам и самим стало не очень комфортно величать своих товарищей обидными кличками. Новые клички не были такими обидными, как прежние, и в большинстве своём пришлись к месту – угловатый тугодум Толя больше походил на кирпич, нежели на непоседу чижика, новоиспечённый Соловей искусно насвистывал популярные песенки, Пыха после бега часто запыхивался. Думаю, это было оттого, что все наши фамилии в большинстве своём произошли от кличек предков, передавших потомкам не только фамилии, но и какие-то свои особенности и привычки. Правда, некоторые клички, придуманные нами, оказались живучими, наверное, больше соответствовали нынешним пацанам, чем фамилии, доставшиеся от пращуров. Так, Соловья за глаза продолжали называть Кроликом, а Пыху – Пыха-Дурак. Совсем не прижилось прозвище Снеток, Имай так и остался Имаем – задиристый, драчливый хан.

Школа

1 сентября 1945 года я должен был пойти «первый раз в первый класс», но друг мой Боря Брунчик забыл за мной зайти, и я прождал его весь день зря. Так что моя школьная жизнь началась не с первого, а со второго сентября... В классах нас было очень много, например, в нашем первом классе было сорок человек. Были мальчишки-калеки, однорукие, одноногие, одноглазые. Я гляжу на групповые фотографии своего класса и вспоминаю, кто из ребят сидит, положив под себя костыль, кто спрятал культю руки за спины товарищей.

Война отметилась на моих ровесниках ещё и тем, что в каждом классе учились переростки из бывших оккупированных мест, из партизанских отрядов. Они казались нам совсем взрослыми, курили, рассказывали нам, например, как в кожухе пулемёта при стрельбе закипает вода и надо ползти к ручью, чтобы набрать воды холодной. Некоторые из них были одеты в перешитые немецкие мундиры, а однажды двое из этих переростков прямо на уроке, выскочив к доске, устроили драку. Они же раньше всех бросали учёбу и уходили работать.

Ко всем своим учителям я относился как к небожителям. Или инопланетянам. И если кто-нибудь из этих «сеятелей разумного, доброго, вечного» проявлял свою причастность к земным делам, это воспринималось мной как чрезвычайное событие и запоминалось надолго. Наша классная Мария Степановна иногда рассказывала в подробностях, как она пережила блокаду. А однажды поведала, как борется с клопами – ставит кровать посреди комнаты и каждую её ножку помещает в жестянку с керосином. Но при этом заметила, что клопы по стенке забираются на потолок и оттуда пикируют на неё, минуя керосин. В ту пору не было хороших средств от бытовых насекомых, и от клопов, оказалось, страдали не только обычные люди, но и уважаемые учителя.

Одно время директором нашей школы был некто Айдаркин, необыкновенно толстый человек с большой без единого волоска круглой головой и очень шумной одышкой. Говорил, что он из тех приамурских партизан, про которых написана популярная песня-марш «По долинам и по взгорьям». Была там такая строчка: «Шли лихие эскадроны приамурских партизан». Этот лихой приамурский партизан вёл у нас предмет «Конституция СССР». Он wpłyвал в класс, как большой пыхтящий пароход, отставлял стул подальше от учительского стола, чтобы тот не давил на его большой живот, кряхтя усаживался и засыпал. И сорок с лишним шалопаев до звонка на перемену сидели тихо-тихо, чтобы его не разбудить. Пожалуй, ни одному самому строгому учителю не удавалось заставить хулиганистую неугомонную братию так долго неподвижно сидеть и молчать.

Здание школы было когда-то построено земством для старо- и ново-деревенской ребятни, всё в этом здании было добротно – и большой спортивный зал, и массивные двери классов с красивыми ручками, и лестницы с дубовыми перилами, и большие окна с бронзовыми шпингалетами на всю высоту окна. Окна классов выходили либо на железную дорогу, идущую от станции Новая Деревня на Лахту, либо на улицу, либо на школьный двор, где долгие годы валялись железобетонные муляжи небольших зажигательных бомб, видимо, здесь учились их обезвреживать. В тот год наш класс располагался на первом этаже с окнами на улицу, по которой часто проходили похоронные процессии в сторону близлежащего Серафимовского кладбища. Выглядели они весьма театрально: несколько лошадей светло-серой масти тащили катафалк, такую же серую телегу на рессорах, с крышей на резных колоннах и с красивыми фонарями. На телеге стоял гроб. Лошади были покрыты серыми сетчатыми попонами, под уздцы их вели пешие мужики в длиннополых наглухо застёгнутых серых балахонах. Если помните, поэт Апухтин этих мужиков в стихотворении «Когда будете, дети, студентами» назвал ассистентами. За катафалком, опять же пешим порядком, нестройными рядами следовала толпа провожающих. Если же хоронили большого военачальника, его гроб везли на артил-

лерийском лафете. Возглавляли шествие офицеры, которые шли гуськом, неся перед собой подушечки с орденами и медалями покойного. Обязательной составляющей военной процессии было отделение почётного караула с оружием для прощального салюта и музыканты военного духового оркестра, их трубы и барабаны возле школы помалкивали.

В том году май был на редкость жарким. Айдаркин, войдя в класс, первым делом распахивал окно и ставил возле него стул. Затем, кряхтя и охая, садился и традиционно засыпал. А мы так же традиционно сидели тихо-тихо. И вот однажды во время такого «тихого» урока мимо наших окон провезли лафет с гробом. В те времена почётный караул после салюта стреляные гильзы для отчёта не собирал, а мы с Борей Брунчиком за ними охотились. И тут появился шанс собрать их тёплыми. Но для этого надо было выбраться на улицу. Боря поскользнулся мимо Айдаркина и вылез в окно. Я не мог отстать от друга. Но было очень страшно. Будто большая холодная лягушка намертво вцепилась мне в живот. Если бы это был вражеский часовой, я был бы героем. А подойдя к спящему директору школы, я был хулиганом. Да и не был я таким ловким, как Боря. И без того сидевший тихо класс замер. Я на деревянных руках и коленках влез на подоконник и выпрыгнул на улицу, не задев Айдаркина ни локтем, ни пяткой. И тут я почувствовал такой взрыв солнечной радости, какой вряд ли испытал после прыжка мой друг Боря. Я понял, что не стыдно чувствовать страх, если ты можешь его побороть.

Мы не знали слова «адреналин», но это не мешало нам время от времени его вкушать.

Наш дворовый приятель Женька Швец учился в классе на два года старше нас. Учителем у него был Иван Архипович, служивший в армии ротным старшиной. Иван Архипович во всём любил армейский порядок и часто выстраивал подопечный класс в шеренгу. Брал большие ножницы и перед строем выстригал клочок волос тем, кто по его мнению давно не был в парикмахерской. Женька зимой ходил в школу на лыжах, три километра махал бамбуковыми лыжными палками вдоль железной дороги. В те годы не было ни школьных ранцев, ни рюкзаков, мы ходили в школу с портфелем. Женька, чтобы освободить руки для лыжных палок, приспособил отцовский ремень, продев его под ручкой портфеля и перекинув через плечо. На очередном построении Иван Архипович увидел эту «рационализацию», этот результат Женькиной интеллектуальной активности, что никак не вязалось с его армейским пониманием порядка. Со словами «Портфель положено носить в руках» он большими ножницами разрезал ремень на Женькиной груди.

Другие учителя страшили нас: «Не будете слушаться – попадёте в класс Ивана Архиповича».

Случалось, что в классах бывало холодно, тогда мы сидели в пальто и шапках, а учителя иногда нас поднимали, чтобы мы попрыгали и, сняв шапку, потёрли замёрзшие пальцы о свою стриженую голову. Когда в школу привозили каменный уголь, мы вместо уроков с восторженным криком втягивали по лестницам железные коробки с углём и растаскивали их по классам.

В морозы холодно бывало и дома. У нас в комнате было две кровати, я спал на полу. Когда же было совсем холодно, а мама дежурила, мы с сестрой натягивали на себя всю одежду, залезали в её кровать и поверх одеял набрасывали наши пальтишки.

Однажды утром сестра толкнула меня локтем: «Гляди, Генька, молоко!» На нашем обеденном столе всегда стоял стеклянный кувшин с водой. А в этот раз в кувшине было молоко. Значит, решили мы, мама прибежала ночью с дежурства, не стала нас будить, оставила нам молока и убежала. Сестра вылезла из-под одеяла, схватила кружку и попыталась налить в неё молока. Увы, это была замёрзшая за ночь вода. А когда мы попытались поесть супа, оказалось, что к оставленной в кастрюле поварёшке примёрзли все макароны. В чернильнице замёрзли чернила.

Не помню, смеялись ли мы тогда с сестрой над такой незадачей, но вполне могли. Ведь и вправду смешно. Мой товарищ по институту, а затем и по многолетней работе в конструп-

торском бюро, Павел Т* со смехом рассказывал, как он году в 1942-м пошёл ночью в уборную и, пока он сидел на горшке, раздался сильный грохот. Вернувшись в комнату, он обнаружил, что половины комнаты нет, а его кровать свёрнута в баранку. Смеялся он оттого, что через много лет представлял себя спящим в этой скрученной кровати. Так же, смеясь, одна из подруг моей сестры рассказывала, как она собирала на обед лебеду и крапиву по крутым берегам Карповки, начался артобстрел, взрывной волной её сбросило в речку. «Да я тогда была тощая и лёгкая, как пёрышко, – оправдывалась девчонка, – жаль, платье всё полиняло после стирки, мама ругалась, а так было очень смешно».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.